Ольга Балла

Близкий всем, всему чужой

К 145-летию со дня рождения Максимилиана Волошина

Много Максов Волошиных

«Максимилиан Волошин. Если вы произнесете это имя перед любым "добрым буржуа", он воскликнет радостно:

— А, Макс Волошин! Тот, который живет в Коктебеле, ходит без штанов, носит хитон и венок на голове...

Но другой, более осведомленный, перебьет его:

— Позвольте, это ведь, кажется, он разрезал картину Репина, или нет — он читал лекцию об ней, и сам Репин плакал. И потом он еще дрался на дуэли...

— Простите, но мне кажется, что Макс Волошин был посажен в сумасшедший дом и помер. Я сам читал его некролог в какой-то киевской газете. Там еще было написано: "к сожалению, покойник слишком любил парадоксы..." А говорят, талантливый человек был.

— Да это не тот Макс Волошин. То умер киевский журналист — псевдоним "Волошин". Их часто смешивали.

— А я знал еще одного Макса Волошина — оккультиста из Парижа...

Одним словом, через несколько минут у Вас закружится голова и начнет казаться, что Максов Волошиных было много, и вообще это только одно наваждение».

Так писал в 1918 году в газете «Ялтинский голос» (в заметке, подпи-

санной именем Сергея Маковского) сам герой, отправляясь в поездку по Крыму с лекциями, чтобы заинтриговать свою будущую аудиторию, — и состояние тогдашнего массового сознания со всей фантастичностью его представлений это отражает идеально. Среди воображаемых участников диалога правы, на свой лад, все. Максов Волошиных было много — и все уживались в одном-единственном.

В этих легендах неспроста нет речи о Волошине как поэте или художнике. Коктебельский чудак бросался в глаза местным жителям, а творчество его было тогда известно немногим.

Вскоре стихи его будут ходить в тысячах списков по обе стороны фронта. При белых их станут распространять в листовках, при красных — читать с эстрады. Ими будут восхищаться монархист Владимир Пуришкевич и революционер Лев Троцкий. И красные, и белые власти будут их запрещать. По очереди беря Одессу в 1919-м, и те, и другие начнут свои воззвания одними и теми же словами из волошинского «Брестского мира».

А пока он (в канонической, но не единственной своей версии) будоражил воображение современников уже одной только своей внешностью. Зевс? Ассирийский жрец? Карл Маркс?.. (За этого последнего его как-то приняли красноармейцы на вокзале. Волошин не возражал...) Все они сразу?.. Тучный, бородатый, с падающей на плечи гривой вьющихся волос, он казался явлением скорее природы, чем культуры, и скорее мифа, чем истории. В каком-то смысле так оно и было — в полном соответствии с намерениями самого Волошина.

«...грузный, толстый мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни, с курчавой бородой, — вспоминал Волошина тех лет Викентий Вересаев. — Он ходил в длинной рубахе, похожей на древнегреческий хитон, с голыми икрами и сандалиями на ногах». «...совсем лесовик из гриммовской сказки», — подтверждал впечатление бывший коллега поэта по журналу «Аполлон» Сергей Маковский. Иван Бунин видел в нем «...нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторогобаранье».

Но кто скрывался за этой личиной?

Быть всем

«Француз культурой, русский душой и словом, германец — духом и кровью», — писала Марина Цветаева. Формула емкая, обоснованная (мировой культуре Волошин учился в Париже, немецкие корни со стороны матери у него были), но недостаточная: Волошин хотел и старался быть человеком мира.

Современник его Всеволод Рождественский определял культурные координаты Волошина так: «Историк, археолог, ботаник, геолог, художник, поэт». (Заметим: поэт в этом перечне — на последнем месте.) Позднейший биограф поэта Владимир Купченко продолжает этот ряд: «не только поэт и филолог, но и искусствовед, эстетик, философ». Александр Лавров добавляет в список «критика» (литературного и художественного), «мыслителя» и «жизнетворца». (Переводчика, правда, забыли! — а он сделал в этом качестве очень много.) Правы опять же все, а Лавров в последнем определении — особенно.

Не умещавшийся, казалось бы, ни в какие рамки, Максимилиан Волошин был характернейшей фигурой своего времени. По насильственном прекращении Серебряного века таких на Руси, кажется, больше не делают.

Он испытал едва ли не все возможные идейные очарования и массовые соблазны эпохи от социализма до антропософии. Искренний сторонник всего, чем увлекался, он никогда не принадлежал вполне чему бы то ни было одному.

И это принципиально: он хотел быть *всем*.

Человек своего утопического времени, он стремился соединить в непротиворечивую цельность поэзию и живопись, науку и оккультизм,

опыт религиозный и исторический, язычество и христианство («Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов, — писал он в одной из автобиографий, — и, в то же время, не могу его мыслить вне Христа»), жизнь и творчество. Интересы его простирались от философии до географии, биологии и астрономии (был членом Французского астрономического общества). (Хорошо знавший Волошина Маковский вспоминал, однако, что начитан он был хотя и универсально, но «по-дилетантски».) Впрочем, всеохватность его имела свои исключения. Были категории, которыми Волошин мыслить отказывался, и области знания (скорее, типы мироотношения), которых он в себя не впускал. Вересаев свидетельствовал, что в его богатой коктебельской библиотеке «поражало полное отсутствие книг по общественным и экономическим наукам. Он с гордостью заявлял, что Маркса не читал и читать не будет».

Думается, в случае этого всевосприимчивого человека такой отказ был формой протеста.

Среди форм его многообразной деятельности поэзия, как писал Лавров, «не была первичной, ни даже вполне суверенной». Она интересовала его как (хоть и необходимая) часть целого, а целым было — жизнетворчество. Создание собственной жизни как произведения искусства и неотъемлемой ее основы — автобиографического мифа.

Маски как лица

Подобно многим поэтам своего времени, Волошин создал себе маску, почти приросшую к лицу и во многом его формирующую. Такая маска узнавалась (широкой читательской аудиторией) прежде лица как такового, существовала в органическом единстве с текстами и в некотором смысле способствовала их возникновению: она была не только ключом к пониманию того, что и зачем поэт делает, но и инструментом самой работы, ее условием. В некоторых случаях — неотменимым. Так было с Елизаветой Дмитриевой, маску для

Черубина де Габриак

которой — таинственную испанку-католичку Черубину де Габриак — придумал, кстати, Волошин. Самые сильные свои стихи, оставшиеся в истории литературы, Дмитриева написала от имени Черубины — за те несколько месяцев, что эта маска на ней была и давала ей опору, защиту, свободу — от собственной эмпирической личности, тела, биографии — и почти перестала писать, когда маска оказалась сорванной.

Но маски носили и те, кто подписывал стихи собственным именем. У Волошина их было две.

Первую забыли быстро: «офранцузенный» эстет, «парадоксалист, играющий в оккультизм и позирующий "под Зевса"». Таким он был почти полтора десятилетия — когда, с начала 1900-х, жил главным образом в Париже, странствовал по Европе, время от времени наезжая в Россию («поэт-коммивояжер», — припечатала его тогдашнего злоязычная Зинаида Гиппиус).

Вторая — та самая языческая фигура, в хитоне и полынном венке, словно слепленная из самого вещества крымской природы, то ли античная, то ли вообще вневременная. «Я, полуднем объятый, / Точно крепким вином, / Пахну солнцем и мятой / И звериным руном...» Таким он оставался со второй половины 1910-х, когда поселился в Коктебеле насовсем, до конца своих дней. (Конечно, это было еще и способом дистанцироваться от переживаемого катастрофического времени.)

Самые сильные слова о России и ее истории предстояло сказать именно этому крымскому вневременному отшельнику.

Свою обреченность на одиночество он знал с самого начала. Когда

в 1903-м, 26-ти лет, он писал: «В вашем мире я — прохожий, / Близкий всем, всему чужой», — это еще можно было воспринять как романтическую позу молодого (хотя ведь уже не очень) человека. Спустя 12 лет, посреди «пылающего мира» Первой мировой, он повторит: «Один среди враждебных ратей — / Не их, не ваш, не свой, ничей». И это уже будет осознанная и продуманная позиция.

Истоки

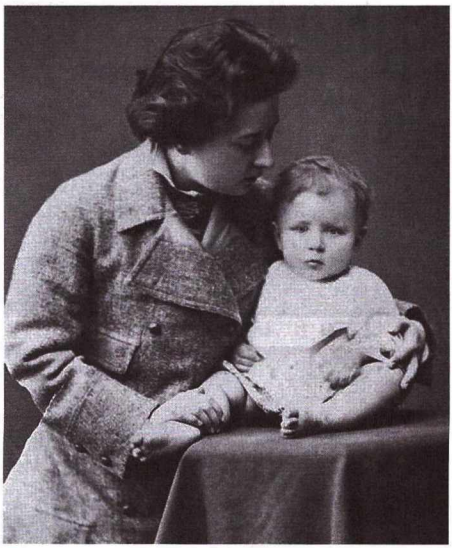
Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин — таково его полное имя, — сын потомка запорожских казаков, коллежского советника Александра Максимовича Кириенко-Волошина и обрусевшей немки Елены Оттобальдовны, урожденной Глазер, родился в Киеве в 1877-м. Мать рано рассталась с его отцом,

Максимилиан Волошин в Коктебеле

Дом Максимилиана Волошина. Второй справа — сам поэт

вскоре умершим, и имела на сына, рядом с которым оставалась до конца своих дней, исключительное влияние.

Воспитанный странной, по признаниям современников, экстравагантной матерью, которой в их с сыном союзе досталось, кажется, все мужское и маскулинное (носила «шитый серебром кафтан», «синие шаровары по щиколотку», «казанские сапоги с голенищами», коротко стриглась, курила, была жесткой, категоричной и властной), Максимилиан развил в себе качества, которых в матушке явно недоставало. Нет, не (почти феминную) мягкость, хотя и ее тоже. Прежде всего (с мягкостью в своем роде связанную) — открытость и всевосприимчивость.



В детстве с матерью

Вскоре они станут его жизненной программой и важнейшей частью его автобиографического мифа.

Жили в Таганроге, Севастополе, с пяти Максовых лет — в Москве, которой он, кажется, никогда не любил («мечтаю о юге», — напишет он, вспоминая эти годы). С пяти лет читал книги из материнской библиотеки («Уже с этой поры постоянными спутниками становятся: Пушкин, Лермонтов и Некрасов, Гоголь и Достоевский, и немногим позже — Байрон и Эдгар По»), но в гимназии учился мучительно-трудно, с отвращением, оставаясь на второй год. Читал Добролюбова и Салтыкова-Щедрина. мечтал написать историю русских 1860-х годов, представлявшихся ему «самой светлой и самой оживленной эпохой изо всей истории России», интересовался народовольцами и вообще людьми, причастными к революционной деятельности.

В 1893-м мечта о юге нежданно исполняется: мать с гражданским мужем П. И. фон Тешем переезжают в Коктебель — маленькую болгарскую деревушку в восточном Крыму. Понравилось не сразу, но — «историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль». Со временем именно эти места поэт признает как «истинную родину» своего духа.

Закончив гимназию в Феодосии — с отвращением к гимназии, но с нежной благодарностью к городу, который, по его словам, «в те годы мало напоминал русскую провинцию, а был, скорее, южноитальянским захолустьем», — поступил на юридический факультет Московского университета (семейная традиция). Но тут в точности повторилась история с гимназией. «Ни гимназии, ни университету, — скажет он позже, — я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни».

С его народовольческими пристрастиями он неминуемо втянулся в студенческое движение. Уже на первом курсе попал под надзор полиции, а через полтора года, с началом Всероссийской студенческой забастовки, за «отрицательное миросозерцание» и «склонность ко всякого рода агитациям», исключен из университета на год и выслан в Феодосию. Едва восстановившись, оказался в числе инициаторов разогнанного властями Всероссийского студенческого съезда, был арестован и выслан снова.

В юности

Это оказалось плодотворнее всех университетских лекций.

Иногда пишут, что Волошина сослали в Среднюю Азию. Но он уехал по доброй воле, устроившись «осенью 1900 г. в партию по изысканию трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги». Проведя там несколько решающих в смысле внутреннего развития месяцев, пришел к освобождающей мысли: не возвращаться в университет, а отправиться взамен того странствовать по свету — «познать всю европейскую культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все "европейское" и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям, "искать истины" в Индию, в Китай».

Вторая половина программы не осуществилась; Париж же, куда он уехал весной 1901-го, чтобы «пройти сквозь латинскую дисциплину формы», стал его «второй духовной родиной».

Латинская дисциплина формы

Годы настоящего учения у Волошина, освободившегося, наконец, и от гимназии, и от университета, совпали с «годами странствий» (так, с отсылкой к гетевскому Вильгельму Мейстеру, назывался первый цикл его первого сборника «Стихотворения»). Объехал всю Францию, побывал в Италии, Испании, в Андорре, на Балеарских островах...

Живя в Париже, страстно учился. Слушал лекции в Сорбонне, в Луврской школе музееведения, в Высшей русской школе общественных наук. Занимался в Национальной библиотеке. Общался с поэтами и писателями — Анри де Ренье, Эмилем Верхарном, Гийомом Аполлинером, Рене Гилем, Анатолем Франсом, Морисом Метерлинком,

Портрет Волошина. Художник Диего Ривера. 1916 год

Роменом Ролланом. С художниками — Одилоном Редоном, Анри Матиссом, Фернаном Леже, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Диего Риверой, скульпторами — Антуаном Бурделем, Аристидом Майолем. С теософками Анной Минцловой и Анни Безант. С антропософом Рудольфом Штейнером — годы спустя Волошин будет вспоминать его как человека, которому «обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя». С Хамбо-ламой Тибета.

Примерял на себя разные типы мироотношения: буддизм, католицизм, масонство, антропософию... Потом он вернется к православию (тяготея к его старообрядческому варианту), но пока до этого еще далеко. В 1905-м был посвящен в масоны Великой Ложи Франции. В 1908-м — во 2-ю масонскую степень. В 1909-м — возведен в степень мэтра.

Недавний социалист превратился в изысканного европейца-индивидуалиста, анархиста по политическим пристрастиям и символиста по пристрастиям эстетическим. «...офранцузился не на шутку, — скажет позже Сергей Маковский, — <...> хотя очень плохо владел французским языком, — так никогда и не научился».

В это время главным делом своей жизни он видел искусствоведение. В Париж ехал, чтобы «подготовиться к делу художественной критики», и стал учиться живописи, чтобы прочувствовать и понять ее изнутри. Учился в академии Филиппо Коларосси и в ателье художницы Елены Кругликовой, — слухи о его дилетантизме в живописи сильно преувеличены.

Первая русская революция прошла, по сути, мимо него. Но в 1906 году у него, парижанина, были еще революционные настроения — свидетельство тому, например, написанное тогда стихотворение «Ангел мщенья»:

Народу Русскому:
Я скорбный Ангел Мщенья.
Я в раны черные — в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья
И голос мой — набат.
Хоругвь моя — как кровь...

Пока, нарабатывая себе литературное имя, он публиковал в русской прессе критические статьи об искусстве. Стихов писал немного (в «Стихотворениях» 1910 года — в единственном его дореволюционном сборнике, итоге десятилетней профессиональной работы в поэзии — всего 124 страницы), переводил новейших французских поэтов — Эмиля Верхарна, Поля Клоделя. Бывая в России, успешно входил в литературную среду — вплоть до «репинской истории».

В январе 1913-го старообрядец Абрам Балашов с криком «Довольно крови!» исполосовал ножом картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Вся свободомыслящая общественность сочувствовала Репину, — Волошин в публичной лекции дерзнул заступиться за Балашова. Не Балашов виноват перед Репиным, сказал он, наоборот: «саморазрушительные силы» — в самой картине.

Свободомыслящая общественность отвернулась от него немедленно. Двери редакций перед ним закрылись.

«Это дало мне возможность, — бесстрастно заметит он годы спустя, — <...> вновь вернуться к оставленной на некоторое время живописи и отойти от суеты литературно-журнальной сутолоки».

Самим собой его сделала историческая катастрофа. В каком-то смысле он был поэт, если и не рожденный катастрофой, то — сорока лет от роду — радикально пересозданный ею.

Начало Первой мировой застало его на пути в швейцарский Дорнах, куда он, к тому времени убежденный штейнерианец — ехал на строительство Гетеанума, антропософского храма.

Волошин подлежал призыву. Категорически не принимая войны и насилия, быть дезертиром он не хотел и в 1916-м вернулся в Россию. Вернувшись, обратился к военному министру с письмом, отказываясь «быть солдатом как европеец, как художник, как поэт» и выражая готовность к любому наказанию. Наказания не случилось: по результатам медицинского осмотра он был комиссован.

Годы странствий кончились. С этих пор он уже не покидал России. Осев в Крыму, изысканный парнасец стал тем Волошиным, без которого немыслимо наше историческое и человеческое самосознание.

Он не перестал быть ни странником, ни человеком мира. Коктебель стал для него местом, откуда виден мир в целом, средоточием пространств и времен. Свою Киммерию, восточный Крым, он не просто открыл: он ее, своими стихами и акварелями, фактически создал.

В ревущем пламени и дыме

Когда весной 1919 года к Одессе подходили григорьевцы и Алексей Толстой звал Волошина за границу,

тот отказался: «Когда мать больна, дети ее остаются с нею».

Это не было позой. Это было позицией.

Ситуация повторилась во время «великого исхода» из Крыма в ноябре 1920-го, перед вступлением туда войск Фрунзе. Не соглашаясь ни с чем из происходящего, он остался.

Поселившись «в глухой провинции у моря», как годы спустя скажет другой поэт, Волошин оказался не на окраине истории, но в самой ее сердцевине.

Этот «поклонник античности и свободы» не поддался ни единой из тогдашних массовых иллюзий. Февраль встретил с недоверием, Октябрь — с отвращением. И если уж мы об иллюзиях как о персональной версии процессов, намного превосходящих человека, — они у него были свои.

В смутах усобиц и войн
постигать целокупность.
Быть не частью, а всем:
не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой —
ты не актер и не зритель.
Ты соучастник судьбы,
раскрывающий замысел драмы.
В дни революции быть Человеком,
а не Гражданином.

Безупречно выстроенные, холодноватые стихи уступают место жгучим проповедям. В революции он видел возмездие:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на разных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи.
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь
и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда.

Так он писал в самом начале ноября 1917-го; это будут цитировать и белые, и красные. Сбылось по слову его.

Волошин не стоял «над схваткой», как постоянно пишут. Он был с обеих сторон — и между ними.

«...он спасал, — писала Марина Цветаева, — красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

И это была мужественная, трудная и смертельно опасная позиция.

«Человек, — скажет он позже, — <...> важнее его убеждений. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволял, — это мешать людям убивать друг друга».

«Важнее отдельных лиц, — объяснял он свою позицию, — <...> общий план развертывающегося действия, архитектурные соотношения групп и характеров и очистительное таинство, скрытое Творцом в замысле трагедии».

«Однажды при белых, — вспоминал Вересаев, — на одной из дач был подпольный съезд большевиков.

Контрразведка накрыла его, участники съезда убежали в горы, а один явился к Волошину и попросил его спрятать. Волошин спрятал его на чердаке, очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой, так что даже не сочли нужным сделать у него обыск. Когда впоследствии благодарили его за это, сказал: — Имейте в виду, что когда вы будете у власти, я так же буду поступать с вашими врагами».

Может быть, он был один такой на всю Россию. На весь Крым — точно.

Он был последовательно этичен: этик-практик, философ-практик. Его поведение прямо следовало не просто из сердечного сочувствия гонимым и убиваемым, но куда глубже — из тщательно продуманного мировосприятия.

Каждый, считал он, «добровольно принял на себя свою жизнь и на Суде даст свой индивидуальный ответ, который будет иметь в себе значение космическое». Личное, единственно возможное противостояние хаосу, имело для него уже тогда, задолго до Страшного суда, «значение космическое».

Кстати, политическая позиция — то, что с некоторой натяжкой может быть таковою названо, — у него была: он изложил ее в статье «Вся власть патриарху» в газете «Таврический голос» в декабре 1918-го. Был и социальный идеал: Град Божий. Не слишком популярная в те годы точка зрения.

Дом-корабль

Установившуюся в Крыму в ноябре 1920-го советскую власть Волошин скорее раздражал, но сотрудничал с нею. Читал лекции в открывшемся тогда Народном университете, на Высших командных курсах, участвовал в создании Феодосийских художественных мастерских, занимался охраной художественных и культурных ценностей...

Да, Волошин был утопистом — в точном соответствии с духом своего утопического времени. Но если современники его утверждали свои утопии в основном кровавыми средствами и не слишком в этом преуспели (каждая из рвавшихся тогда к воплощению утопий так и норовила обернуться чем-нибудь людоедским), Волошин свою, личную, но не для одного себя предназначенную — осуществил. Притом мирно. Это была одна из очень немногих утопий — не единственная ли? — в самом деле и без малейшего насилия над кем бы то ни было воплотившаяся в тогдашней России. И она пережила своего создателя.

Такой утопией стал коктебельский Дом поэта — место для жизни, максимально соответствующей ценностям своего хозяина.

Дом, похожий на корабль, с высокой двусветной мастерской из дикого камня, с террасами-палубами, с башней для наблюдения за звездами, строился с 1903 года по собствен-

В доме Волошина в Коктебеле. Марина Цветаева (слева), мать Волошина Елена Оттобальдовна (справа)

Максимилиан Волошин с женой в Коктебеле

ному плану владельца: 22 небольших комнаты соединялись друг с другом дверями так, чтобы из каждой можно было пройти по всему дому, не выходя на улицу. Волошин с самого начала строил его как пространство общения и творчества и создал в нем уникальную дружескую атмосферу. Денег с постояльцев не брал — даже с незнакомых, даже когда бедствовал.

Приезжали — еще с дореволюционных времен — в основном люди искусства. Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева — именно здесь познакомившаяся с Сергеем Эфроном, Алексей Толстой, Владислав Ходасевич, Михаил Булгаков, Андрей Белый, Максим Горький, Илья Эренбург... В самые трудные годы, с 1917-го по 1921-й, у Волошина останавливалось до шестисот человек за лето. «Двери открыты всем, — писал он, — даже приходящему с улицы».

«...местные болгары, — вспоминал Вересаев, — сами обычно сдающие на лето все в своих домах, что можно только сдать для дачников, страшно возмущались тем, что Волошин сдает комнаты бесплатно, что это "не по-коммунистически"». Фининспекция не могла поверить, что он не берет денег, и требовала уплаты налога за «содержание гостиницы». Комсомольские активисты требовали взносов на Осоавиахим и Воздухофлот, считая отказ контрреволюцией.

В 1924 году он получил разрешение устроить у себя Дом творчества для писателей — опять-таки бесплатный, оставив себе с женой только второй этаж с мастерской. Жена его, Мария Степановна, прожившая там до 1976 года, сберегла не только библиотеку и архив мужа, но саму атмосферу дома, сохранившего культовый статус и у советской, и, кажется, у постсоветской интеллигенции.

Власть же чувствовала Волошина чужаком — и при жизни, и еще долго после смерти (умер он в 1932-м). В 1930-х за хранение его стихов арестовывали. С 1928 по 1961 год в СССР не было издано ни одной его строчки. При советской власти его вспоминали в основном как художника-акварелиста, а стихи его переписывались от руки, перепечатывались на машинке (он так и хотел: «списываться тайно и украдкой»). Полузабытый при жизни, Волошин был переоткрыт десятилетия спустя после смерти. Все его стихи, большая часть статей, дневников и воспоминаний стали доступны читателям с конца 1980-х, а первое полное, научное, с комментариями собрание его сочинений вышло в 2003–2011 годах. В нем 12 томов, почти десять тысяч страниц.

Каков главный — для нас, теперь — смысл поэтического и человеческого участия Максимилиана Волошина в русской культуре? Например: возможно жить в сердцевине истории и не быть ее пленником. Помнить, что человек важнее его убеждений — и оставаться на стороне человека как такового.

Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.